
Ведьма из Сызрани
Домовой съехал
Съехал.
Не ищи.
Ф. Е.

Милана Панова

Ведьма из Сызрани. Домовой съехал

«Автор»
2026

Панова М.

Ведьма из Сызрани. Домовой съехал / М. Панова — «Автор», 2026

Первого мая Василиса просыпается в холодном доме. Печь не топится, ходики встали, калитка больше не поёт, а под шестком лежит записка зелёным фломастером: «Съехал. Не ищи. Ф. Е.». Домовой, который прожил за печкой двести шестьдесят лет, ушёл насовсем. Кот Модест знает куда, но дал слово молчать.Без хозяина дом пустеет. Молоко скисает за двадцать минут, в чай кто-то подсыпает соль, Василиса с Егором ссорятся всерьёз, а по всей старой Сызрани в опустевшие дома лезут беспятые анчутки.Чтобы вернуть Фрола Евсеича, придётся узнать, что случилось в пожаре 1774 года, найти детский лапоть с выжженным пятном и подняться ночью на Молодецкий курган, где вся Волга прощается со своим Большаком. Туда людей не пускают. Но двести шестьдесят лет кое-кто ждёт, чтобы его позвала девочка шести лет.Тёплая и смешная история о доме, об отцах и детях и о том, что хозяин — это не кто, а что ты делаешь.

© Панова М., 2026
© Автор, 2026

Содержание

Глава 1. Холодная печь 6
Глава 2. Лапоть 15
Глава 3. Беспятые 23
Конец ознакомительного фрагмента. 29

Милана Панова
Ведьма из Сызрани. Домовой съехал

Ведьма из Сызрани. Домовой съехал

Серия «Ведьма из Сызрани». Книга восемнадцатая

Глава 1. Холодная печь

Первого мая две тысячи тридцать четвёртого года Василиса проснулась от холода.

Не от будильника, не от Гашиного «мама, вставай, уже светло», не от того, что Егор, собираясь на службу, уронил в сенях ведро, — от холода. Он забрался под одеяло со стороны ног, как кошка, которой не разрешают на кровать, и лёг на пятки.

Она полежала, не открывая глаз, и попробовала понять, что не так.

В доме на Верхне-Кирпичной, тринадцать, по утрам всегда пахло. Это было первое, что она узнала о нём восемь лет назад, когда приехала из Москвы с чемоданом, ипотекой и уверенностью, что продаст бабкину избу за месяц: дом пах. Печным теплом, сушёной мятой, вчерашним хлебом, кошачьей шерстью, воском. И ещё чем-то, чему она тогда не знала названия, а теперь знала: тем, что за печкой кто-то есть и этот кто-то уже встал.

Сейчас пахло только холодом. Чистым, весенним, пустым. Как в магазине, где ещё не завезли товар.

Василиса открыла глаза.

Егор спал рядом, отвернувшись к стене, натянув одеяло до уха. Первомай у участкового — день не выходной: с девяти на площади, потом на набережной, потом до ночи разнимать тех, кто слишком хорошо отметил. Будильник стоял на семь. Было без двадцати шесть.

Она вылезла из-под одеяла, сунула ноги в тапки — тапки были ледяные — и пошла на кухню.

Печь стояла холодная.

Не остывшая — холодная. Василиса приложила ладонь к белёному боку, туда, где кирпич даже в июле оставался тёплым, как спина спящей собаки, и отдёрнула руку. Камень. Просто камень. Белёный, гладкий, с трещинкой у шестка, которую Агафья когда-то замазала глиной с конским волосом.

На шестке не было блюдечка.

Каждое утро — с первого её утра в этом доме — на шестке стояло блюдечко. С отбитым краем, синее, с золотой каёмкой, стёршейся до бледной полоски. Из него Фрол Евсеич пил чай. Шумно, отдуваясь, с присвистом, как пьют чай купцы в старых фильмах, — и Василиса давно перестала замечать этот звук, как перестают замечать тиканье часов. Блюдечко мыли вечером, а к утру оно снова стояло на шестке, с чаем, с плавающей в чае мятой, и иногда — если Фрол Евсеич был в духе — рядом лежал сухарик для Модеста. Модест сухарей не ел. Сухарик лежал из принципа.

Блюдечка не было.

Она заглянула за печку. В узкую щель между печью и стеной, где на старом ватнике, в окружении пуговиц, напёрстков, огрызков карандашей и Гашиных потерянных заколок, обычно ворочался, сопел и бормотал во сне домовой.

Ватник лежал. Пуговицы лежали. Огрызки карандашей лежали аккуратной кучкой, по росту, как никогда не лежали.

Фрола Евсеича не было.

— Фрол Евсеич, — сказала Василиса. Не громко. Так, как зовут в соседнюю комнату.

Тишина.

— Фрол Евсеич, вы где?

Из-за печки, из самой глубины, донёсся звук. Тонкий, сухой, частый. Тр-р-р, тр-р-р. Василиса не сразу поняла, что это.

Веретено.

Устя сидела в дальнем углу, там, где печь упиралась в стену и где даже днём было темно. Маленькая, костлявая, в сером платке, с зелёными, как болотная ряска, глазами. Она пряла.

Не так, как пряла обычно — медленно, задумчиво, вытягивая нитку из кудели так, словно уговаривала её, — а быстро, зло, рывками. Веретено вертелось у неё в пальцах, как волчок, и нитка — чёрная, блестящая, из Модестовой шерсти — шла толстая, неровная, с узелками.

— Устя, — сказала Василиса. — Где Фрол Евсеич?

Устя не подняла головы.

Нитка лопнула.

Кикимора посмотрела на обрывок у себя в пальцах. Очень спокойно. Связала узлом. Снова закрутила веретено.

— Устя.

— Ушёл, — сказала Устя. И больше ничего не сказала. Тр-р-р. Тр-р-р.

Василиса выпрямилась.

Модест лежал на печке. На самом краю, у трубы, где всегда лежал по утрам, свернувшись чёрным кольцом, положив морду на лапы. Глаза были открыты. Жёлтые, круглые, неподвижные. Он смотрел на неё сверху — и на холодной печи, без тепла снизу, казался меньше, чем был.

— Модест.

— Да.

— Где Фрол?

Кот не ответил.

Он не отвернулся и не закрыл глаза, не сделал вид, что спит, — за восемь лет Василиса выучила все его способы не отвечать, от демонстративного вылизывания до внезапной глухоты, — и ни одним из них не воспользовался. Просто смотрел. И молчал. Как молчат люди, у которых во рту горячее и которые не могут ни проглотить, ни выплюнуть.

— Модест, — повторила она медленно. — Ты знаешь, где он.

— Посмотри под печкой, — сказал кот. — Под шестком. Слева.

Василиса присела. Сунула руку в подпечек — тёмную нишу, куда складывали ухваты и куда Гаша прятала от брата фантики. Нащупала ухват. Кочергу. Чей-то носок. И — бумагу. Сложенную вчетверо.

Это был листок из Гашиного альбома. Плотный, шершавый, с отпечатком на обороте: кто-то рисовал на предыдущей странице фломастером и продавил. Василиса развернула.

Буквы были крупные, кривые, наклонённые в разные стороны, как заборные штакетины после зимы. Написано Гашиным зелёным фломастером, тем самым, который Гаша искала со вчерашнего обеда и обвиняла в его пропаже брата.

«СЪЕХАЛ. НЕ ИЩИ. Ф. Е.»

И ниже, мельче, явно приписанное после, другим нажимом:

«Самовар не трогай, он течёт. Фломастер девке верни».

Василиса прочитала два раза. Потом перевернула листок. На обороте был Гашин рисунок, начатый и брошенный: дом, печка, из трубы — дым кольцами. Возле печки — маленькая фигурка с огромной бородой. Фрол Евсеич. Гаша рисовала его всегда одинаково: с бородой до пола и в валенках, хотя валенок он не носил с позапрошлой зимы, жаловался, что жмут.

— Съехал, — сказала Василиса вслух.

Слово было глупое. Так говорят про квартирантов. Про соседей сверху, которые три года сверлили по субботам и наконец продали квартиру. Не про домового, который жил в этом доме, когда ещё не было ни Верхне-Кирпичной улицы, ни железной дороги, ни Агафьи, ни Агафьиной бабки, ни бабки той бабки.

— Куда? — спросила она у кота.

Модест молчал.

— Модест, куда он съехал? Он тебе сказал? Он с тобой попрощался?

— Не спрашивай, — сказал Модест.

— Почему?

Кот поднялся. Потянулся — без обычного удовольствия, деловито, как разминаются перед тяжёлой работой. Сел. Обвил лапы хвостом.

— Потому что я дал слово, — сказал он. — Ночью. Вот на этом месте. — Он посмотрел на неё. — А когда ты спрашиваешь, мне очень хочется его забрать. Я не люблю, когда мне хочется того, чего нельзя. Поэтому — не спрашивай.

— Он вернётся?

Модест отвернулся к окну.

Это был ответ. Василиса знала кота достаточно, чтобы понимать: если бы Фрол Евсеич собирался вернуться, Модест сказал бы «не твоё дело» или «вернётся, куда он денется, старый пень», — и фыркнул бы, и улёгся, и всё. А он отвернулся. И уши у него — она видела — лежали плоско, прижатые к голове, как у кота, которого вот-вот ударят.

Она села на табуретку посреди кухни. С листком в руке.

В доме было тихо. Так тихо, что слышно было, как в комнате спит Егор, как тикают ходики над столом, как за окном, на ветке старой Агафьиной яблони, пробует голос скворец — неуверенно, пискляво, ещё не распевшись.

И как за печкой, в темноте, вертится веретено. Тр-р-р. Тр-р-р. Тр-р-р.

Ходики над столом остановились в шесть ноль четыре.

Василиса заметила это не сразу. Сидела, смотрела на листок, на зелёные буквы, на «НЕ ИЩИ» с перевёрнутой «И», и только минуты через три поняла, что тиканья больше нет. Подняла голову. Маятник висел неподвижно. Гиря стояла на месте, ровно там, где её подтянули вечером.

— Кончился завод, — сказала она.

Модест посмотрел на ходики. Потом на неё.

— Ходики заводил он, — сказал кот. — Каждую ночь. В три часа. С девяносто шестого года. — И, помолчав: — Ты думала, они сами?

Она думала, что сами. Она восемь лет думала, что старые ходики с кукушкой, у которой давно отломали голову, идут сами — с одного завода, без остановки, как в рекламе батареек. Ни разу не подтягивала гирю. Ни разу не видела, чтобы кто-нибудь подтягивал.

Василиса встала. Подошла. Потянула за цепочку — гиря поползла вверх, тяжело, со скрежетом. Толкнула маятник.

Маятник качнулся раз. Другой. И встал.

Она толкнула снова. Он качнулся, задел что-то внутри, звякнул — и опять остановился, повиснув ровно посередине, как стрелка весов, на которых ничего не лежит.

— Не будут, — сказал Модест. — Не старайся. Они его.

На кухню, шлёпая босыми ногами, пришла Гаша.

В пижаме с зайцами — в прошлом году она была ей велика, в этом стала как раз. С растрёпанными волосами, с подушечным рубцом на щеке. Шесть лет, два месяца и — если считать по-честному, по-високосному, как считал Алёша, — полтора дня рождения. Остановилась на пороге. Посмотрела на маму на табуретке. На кота на печке. На листок.

Нахмурилась.

Гашины брови — тёмные, густые, Евдокиины, как говорили все, кто помнил Евдокию Марковну, — сошлись к переносице сами, без её участия. Василиса видела, как дочь спохватилась и попробовала их развести. Не вышло.

— Мам, — сказала Гаша. — Почему дом серый?

— Какой серый?

— Ну, серый. — Гаша обвела рукой кухню. — Вчера был жёлтый. Тёплый. А сегодня серый. Как картон. — Она шагнула внутрь и поёжилась. — И холодно. Где дедушка Фрол?

Василиса посмотрела на дочь.

Гаша видела нитки — с трёх лет, с того дня в московском метро, на эскалаторе, когда её впервые накрыло и она плакала навзрыд, а Евдокия Марковна потом сказала: «Моя». Видела, как от людей тянутся друг к другу тонкие, светящиеся, разноцветные волокна. Видела, у кого в семье порвано, у кого натянуто до звона, у кого спуталось в ком. Брови помогали: нахмуришься — и ниток становится меньше, не так слепит. Василиса тоже их видела, но ей для этого надо было повернуть внутри себя что-то вроде ручки настройки, как у старого приёмника. Гаше — не надо было. Гаше надо было наоборот: не смотреть.

Если Гаша говорила «серый» — значит, серый.

— Дедушка Фрол уехал, — сказала Василиса.

— Куда?

— Пока не знаю.

— А когда приедет?

Василиса открыла рот. Закрыла.

Гаша смотрела на неё — нахмуренная, сонная, в пижаме с зайцами. Потом на кота. Потом снова на неё. И вдруг — Василиса увидела, как это происходит, как у шестилетнего человека в лице что-то проваливается, — поняла.

— Он нас бросил? — спросила Гаша тихо.

— Нет, — сказала Василиса. Быстро. Слишком быстро. — Нет, зайка. Он…

— Он нас не бросил, — сказал Модест с печки.

Гаша подняла голову.

— А что тогда?

Кот смотрел на неё. Василиса видела: он искал слово. Модест, у которого на любой случай за двести с лишним лет было заготовлено три ответа, два из которых были оскорбительными, а третий — про сметану, — искал слово для шестилетней девочки. И не находил.

— Он ушёл туда, где он нужнее, — сказал он наконец.

— Нам он нужнее, — сказала Гаша.

И ушла. Не заплакала, не топнула, не хлопнула дверью — просто развернулась и ушла в комнату, шлёпая босыми ногами. Через секунду оттуда донёсся скрип: Гаша залезла к брату под одеяло. Она всегда так делала, когда было плохо. Алёша никогда не возражал.

Модест долго смотрел ей вслед.

— Вот этого, — сказал он негромко, — я ему не прощу.

Егора Василиса будить не стала. Он проснулся сам, в семь, по будильнику, вышел на кухню в форменных брюках и майке, с полотенцем на шее, — и остановился, как остановилась Гаша. На пороге. Поёжился.

— Чего у нас как в склепе? — спросил он. — Печку не топили?

— Не топили.

— А чего? — Он подошёл, потрогал печь, как трогают лоб ребёнку. — Ого. Ледяная. — Посмотрел на Василису. — Вась. Ты чего такая?

Она протянула ему листок.

Егор прочитал. Медленно — он всегда читал медленно, по-милицейски, как протокол, по два раза каждую строчку, чтобы потом не говорили, что не так понял. Перевернул. Посмотрел на Гашин рисунок с бородатым человечком.

— Это Фрол? — спросил он.

— Это Фрол.

— Съехал, — повторил Егор. — Куда съехал? Домовые разве съезжают?

— Не знаю, — сказала Василиса. — Я думала — нет.

Егор Шмелёв за годы брака с ведьмой привык ко многому. К говорящему коту, которого сам он слышал как «мяу», но понимал, по его словам, «по интонации, как начальника». К кикиморе за печкой, которую не видел, но которой оставлял на шестке пряники, потому что

Василиса однажды сказала, что Устя любит мятные. К баннику в общественной бане, к Кощею в ломбарде, к Лиху на Спасской башне, к снежной девочке у соседа. К тому, что в протоколах по его участку раз в месяц появлялось что-нибудь, что он записывал как «хулиганство неустановленных лиц», а потом шёл домой и спрашивал у жены, какие лица это были на самом деле.

Фрола Евсеича он не видел ни разу. Но знал — так, как знают, что в доме кто-то есть, даже если этот кто-то молчит в соседней комнате. Здоровался с печкой, когда приходил. Ставил на шесток свою кружку, если некуда было поставить, — и кружка к утру оказывалась вымытой. Когда год назад полез чинить подпол и провалился ногой между лагами, кто-то невидимый успел подсунуть под пятку полено, и Егор не сломал лодыжку, а только ободрал. Потом он долго стоял на кухне, смотрел на печь и наконец сказал: «Спасибо, дед». И за печкой кто-то высморкался — громко, смущённо и, по словам Модеста, «как пароход на Волге».

— Слушай, — сказал Егор. — Он же старый. Может, он того… в отпуск? Они ходят в отпуск?

— Модест говорит — не в отпуск.

Егор посмотрел на кота.

— А Модест что ещё говорит?

— Модест говорит, что дал слово и ничего не скажет.

Егор посмотрел на кота внимательнее. Модест смотрел на него в ответ. Жёлтыми глазами. Не мигая.

— Мяу, — сказал Модест.

— Понятно, — сказал Егор. — Показания давать отказывается. — Он вздохнул. Почесал вихор, который за годы брака не стал послушнее ни на волосок. — Вась. Мне в девять на площади. Демонстрация. Там же половина города будет, со стариками, с детьми. Я не могу не пойти.

— Иди.

— Я вечером…

— Иди, Егор. — Она отвернулась к окну. — Я затоплю печку. Разберусь.

Он постоял. Потом подошёл сзади, обнял — неловко, одной рукой, вторая была занята полотенцем. Подбородком уткнулся ей в макушку.

— Найдём, — сказал он. — Кота нашли — и деда найдём. Я ж участковый.

Она не ответила. Он поцеловал её в волосы и пошёл одеваться.

Печь не затапливалась.

Василиса положила дрова так, как укладывала их сто раз: колодцем, берёза снизу, сверху мелкие сосновые щепки, береста для растопки. Чиркнула спичкой. Береста вспыхнула, затрещала, свернулась — и погасла. Сразу. Как будто на неё дунули.

Она чиркнула снова. Береста загорелась, щепки занялись, огонь лизнул полено — и из печи, из устья, прямо ей в лицо, повалил дым. Густой, едкий, серый. Не вверх, в трубу, а вниз, в кухню, клубами, как из подвала.

Василиса закашлялась. Открыла заслонку до упора — заслонка и так была открыта. Распахнула форточку. Дым стоял на кухне, как туман над Волгой в октябре, и не уходил ни в форточку, ни в трубу.

Модест спрыгнул с печи и ушёл в сени, не оглядываясь, с выражением, которое Василиса перевела бы как «предупреждал».

Из комнаты, кашляя, выскочил Егор — уже в форме, при галстуке, с фуражкой в руке.

— Горим?!

— Не горим. Тяги нет.

Егор отодвинул её от устья. Заглянул. Помахал фуражкой. Покашлял. Сунул руку в печь — Василиса не успела сказать «осторожно», — нащупал что-то, вытащил. Посмотрел.

На ладони у него лежал птичий пух. Серый, лёгкий. Немного.

— Гнездо, что ли? — сказал Егор. — В трубе? Да нет, тут перья только. — Он вытер руку о брюки. Посмотрел на часы. — Вась. Восемь двадцать. Мне бежать. Я вечером на крышу залезу, гляну трубу. Ладно? Ты пока электрическим погрейся.

— Ладно.

— И детей одень. Холодно.

— Егор, я знаю, что холодно.

Он хотел что-то сказать. Не сказал. Нахлобучил фуражку, чмокнул её в щёку — промахнулся, попал в ухо — и ушёл. Калитка за ним…

Калитка за ним не запела.

Василиса стояла у окна и смотрела, как Егор идёт по двору, как открывает калитку, как выходит на улицу и закрывает её за собой. Старая деревянная калитка, которую ещё Агафья выкрасила в зелёный, а Егор два года назад перекрасил в тот же зелёный, потому что Гаша сказала, что другой цвет калитке не понравится. Калитка, которая пела. Каждому, кто входил и выходил. Четыре ноты, вверх-вниз, тихие, скрипучие, и Василиса когда-то думала, что это петли не смазаны, а потом узнала, что не петли.

Калитка закрылась беззвучно. Как обычная калитка. Как у всех.

Скворец на яблоне замолчал.

К обеду Василиса знала три вещи.

Первое: печь не топилась. Ни с берестой, ни с газетой, ни с таблеткой сухого горючего, которую Егор держал для рыбалки. Огонь занимался и умирал. Дым шёл в дом. Она сдалась к одиннадцати, включила два масляных обогревателя, одела детей в шерстяные носки и свитера и запретила подходить к печке. Алёша послушался. Гаша сказала, что печка обиделась, и что если бы она, Гаша, была печкой и у неё ушёл дедушка, она бы тоже не топилась. Возразить было нечего.

Второе: молоко скисло за двадцать минут. Свежее, утреннее, из пакета, который Василиса открыла при детях, налила Алёше в кашу, поставила обратно в холодильник, — и когда через двадцать минут достала снова, в пакете бултыхалась простокваша. Хлеб, купленный вчера вечером, оказался чёрствым, как будто пролежал неделю. Соль в солонке слиплась в камень.

Третье: Модест ничего не скажет. Она пробовала. Утром, в полдень, в час. Прямо, в лоб; обиняком; через Алёшу, которого Модест любил больше всех и который мог бы, наверное, выпросить у него даже рецепт вечной сметаны. Алёша подошёл, сел рядом с котом на подоконник, помолчал, а потом сказал: «Модест. Мне не надо знать, где он. Мне надо знать, ему там холодно или нет». И кот, помолчав очень долго, ответил: «Нет. Ему там не холодно. Ему там — страшно». И больше ничего. Алёша вернулся к маме и передал дословно. И добавил от себя, серьёзно, как взрослый: «Я не знал, что дедушка Фрол чего-нибудь боится».

Василиса тоже не знала.

В половине второго она позвонила Еремею Касьяновичу.

Он был в Сенгилее, на маяке, — Пелагея Саввишна после свадьбы с Глебом Борисовичем так и осталась там жить, и Еремей Касьянович, который сначала гостил у неё по неделе, потом по месяцу, а потом как-то незаметно перевёз на маяк свои котелки, трубки и монокли, отвечал теперь из такой акустики, будто сидел внутри огромной железной бочки. Трубку взял не сразу. Сначала там что-то шуршало, потом раздался бас Пантелея — «Барин, вас из Сызрани, ведьма!» — потом шаги по железной винтовой лестнице, долгие, с остановками.

— Голубушка, — сказал наконец знакомый голос. Сухой, вежливый, с той особенной старомодной интонацией, с какой в старых романах говорят «милостивый государь». — С праздником вас. С днём весны и труда. Что стряслось?

— Еремей Касьянович. От меня домовой ушёл.

На том конце стало тихо.

Не так тихо, как молчит человек, который задумался. Иначе. Как будто там, в железной бочке маяка, выключили звук.

— Повторите, голубушка.

— Фрол Евсеич. Ушёл. Ночью. Оставил записку: «Съехал. Не ищи».

— Собственной рукой?

— Гашиным фломастером. Но рукой — его.

Еремей Касьянович помолчал. Потом Василиса услышала, как он раскуривает трубку — чирканье, пыхтение, долгий выдох.

— «Съехал», — повторил он. — Именно так и написал? Не «ушёл», не «уехал», не «вернусь к Пасхе»?

— Съехал.

— Печь топится?

— Нет. Дым в дом.

— Часы?

— Встали в шесть ноль четыре.

— Калитка?

— Молчит.

Ещё одна затяжка. Потом — очень медленно, очень аккуратно, как ставят на стол чашку, которая может разбиться:

— Голубушка. Сядьте, пожалуйста.

Василиса села.

— Видите ли, — сказал Еремей Касьянович. — Домовые уходят. Бывает. Редко, но бывает. Уходят за хозяевами, когда те переезжают, а позвать забыли. Уходят, когда в доме совсем худо — пьют, бьют, ругаются по-чёрному. Уходят в другой дом, если там сирота-печь, а у них сердце мягкое. Но тогда — просто уходят. Без бумаги. Ночью, тихо, никому ничего. Утром хозяйка встаёт — а за печкой пусто. И через год-два заводится новый. Или не заводится.

— А с бумагой?

— А с бумагой, голубушка, — сказал Еремей Касьянович, — это не уход. Это отказ.

— От чего?

— От дома. — Записка «Съехал» — это не письмо вам. Это письмо дому. Старая формула. Её домовой пишет, когда уходит насовсем и хочет, чтобы дом его не ждал. Чтобы печь не тосковала, часы не держали его время, калитка не высматривала. Он дом отпускает. Как отпускают собаку, которую не могут взять с собой: сними ошейник и отвернись. — Еремей Касьянович затянулся. — Это, голубушка, очень благородно. Очень по-старинному. И очень, очень глупо.

— Почему глупо?

— Потому что дом без хозяина, — сказал Еремей Касьянович, — и дом, которому сказали, что хозяина больше не будет, — это разные дома. Первый ждёт. Второй — не ждёт. Он пустой. Совсем. — Еремей Касьянович замолчал — так молчат, подбирая слова для плохой новости. — А в пустой дом, голубушка, обязательно кто-нибудь заходит. Пустота на Руси долго не стоит.

— Кто заходит?

— Разные. — Еремей Касьянович вздохнул. — Мелочь всякая. Вы не бойтесь пока. Пока — не бойтесь. Пока у вас кот на печке, кикимора за печкой и баня во дворе жилая — оно сразу не полезет. Подождёт. Принюхается.

— А потом?

— А потом, — сказал Еремей Касьянович, — надо, чтобы хозяин был. Любой. Но был. — И, помолчав: — Голубушка. Можно я задам вам вопрос, который покажется бестактным?

— Задавайте.

— Вы с ним ссорились? С Фролом Евсеичем? Последнее время?

Василиса подумала. Честно, как просили.

— Нет, — сказала она. — Он ворчал. Как всегда. На телевизор, на Модеста, на Егоровы ботинки в сенях. Но не ссорились. Позавчера пирог ему ставила, с капустой, он съел и ещё попросил. Через Модеста.

— А вёл себя — как? Странно?

Она подумала ещё.

И вспомнила.

Неделю назад — нет, дней десять — она проснулась ночью попить воды и увидела на кухне свет. Не электрический — слабый, жёлтый, как от свечного огарка. Подошла к двери. Заглянула.

Фрол Евсеич сидел на лавке у окна. Один. Без чая. В руках у него было что-то маленькое, светлое, шуршащее. Береста? Кусок коры? Он держал это близко к глазам — он плохо видел вблизи, но очки, которые Гаша ему подарила на Новый год, игрушечные, из набора «Юный доктор», носил только при детях, — и читал. Шевеля губами. А потом опустил руку с берестой на колени и долго, долго сидел, глядя в окно, на тёмный двор, на яблоню, на баню.

Василиса тогда не вошла. Подумала — не её дело. У домового тоже может быть письмо. Мало ли.

Утром Фрол Евсеич был такой же, как всегда. Ругал Первый канал. Ставил на Модеста пять сметан, что к обеду пойдёт дождь. Проиграл. Отдал.

— Было письмо, — сказала она в трубку. — На бересте. Он ночью читал.

На маяке в Сенгилее стало тихо.

— Береста, — повторил Еремей Касьянович. Очень ровно. — Вы видели, что там было написано?

— Нет.

— А печать? Знак какой-нибудь? Уголёк? Сажей след?

— Я не видела. Еремей Касьянович, что это значит?

— Это значит, голубушка, — сказал старик медленно, — что я, кажется, знаю, куда он съехал. И, кажется, знаю, почему. — Но я не уверен. А раз не уверен — говорить не буду. Вы меня знаете. Я за пятьдесят лет ни разу не сказал того, в чём не уверен, и это единственное, чем я горжусь.

— Еремей Касьянович!

— Я позвоню, — сказал он. — Через несколько дней. Мне надо спросить кое у кого. У старых. — Затяжка. — А вы, голубушка, пока сделайте две вещи. Первое: каждый вечер ставьте на шесток молоко. Как будто он есть. Дом должен видеть, что вы ждёте, даже если ему сказали не ждать. Второе… — Он поколебался. — Второе: присмотрите за мужем.

— За Егором? Почему?

— Потому что в пустом доме, — сказал Еремей Касьянович, — первым делом начинают ссориться. Это не вы. Это дом. Помните об этом, когда будете ссориться. — И, прежде чем она успела ответить: — Поклон детям. Пантелей кланяется. Онуфрий тоже кланяется, но он сейчас на крыше, чинит фонарь, так что кланяется издали.

И отключился.

Вечером Егор, как обещал, полез на крышу.

Залез по старой лестнице, приставленной к стене бани, перешёл по коньку, держась за антенну, дошёл до трубы. Посветил в неё фонариком. Долго светил. Потом крикнул вниз, что ничего там нет, ни гнезда, ни кирпича, ни сажи — «чистая, как у Пыжикова совесть». Спустился. Вымазался. Наступил в темноте на грабли, которые сам же днём оставил у крыльца, и получил черенком по лбу — точно, звонко, как в кино.

— Фрол бы убрал, — сказал Модест с подоконника, глядя, как Егор, держась за лоб, ругается шёпотом, чтобы не услышали дети. — Каждый вечер убирал. Двести лет. Грабли, вёдра, лопаты. Твой муж сколько лет оставляет грабли у крыльца — и ни разу на них не наступил. Ты думала, это везение?

Василиса ничего не ответила.

Она стояла на крыльце и смотрела на двор. На яблоню, которая только-только начинала цвести — белым, робко, на нижних ветках. На баню, из трубы которой вился дымок — Луи топил для себя, он всегда топил по вечерам, и баня, слава богу, топилась. На калитку. Зелёную. Молчаливую.

На небо — светлое ещё, майское, с розовой полосой над крышами Нижне-Кирпичной.

Ей вдруг стало так одиноко, как не было с той первой ночи восемь лет назад, когда она лежала в чужом доме на продавленной Агафьиной кровати и думала, что совершила самую большую глупость в жизни.

Перед сном она налила в синее блюдечко молока. Свежего — новый пакет, только что из магазина. Поставила на шесток. Рядом положила сухарик. Для Модеста. Из принципа.

Утром молоко в блюдечке было свернувшимся, жёлтым и пахло так, что Гаша зажала нос.

Сухарик лежал нетронутый.

А на холодном шестке, рядом с блюдечком, в тонком слое золы, которую Василиса не выгребла с вечера, были следы.

Маленькие. С вишнёвую косточку. Много. Они бежали от устья к краю шестка, петляли вокруг блюдечка, топтались у сухарика — и обрывались на краю, как будто тот, кто их оставил, спрыгнул вниз.

Василиса наклонилась ниже. Долго смотрела. И не сразу поняла, что с ними не так.

У следов не было пяток.

Только пальцы — крошечные, растопыренные, по четыре на каждой ступне. И сразу, без перехода, — пустота. Как будто кто-то бегал по золе на цыпочках. Всю ночь. Не опускаясь ни разу.

Модест спрыгнул с печи. Подошёл. Понюхал следы. Шерсть у него на загривке поднялась — медленно, волной, от затылка к хвосту.

— Началось, — сказал он.

Глава 2. Лапоть

Фрол Евсеич прощался с домом три часа.

Он начал в полночь, когда дом уснул окончательно: Егор перестал ворочаться и захрапел ровно, на одной ноте, как трактор на холостых; Гаша перестала разговаривать во сне со злыднем; Алёша, который спал тихо всегда, перестал даже дышать слышно — так, что Фрол Евсеич по старой привычке подошёл к его кровати и постоял, пока не убедился, что дышит. Василиса уснула последней. Она теперь всегда засыпала последней — с тех пор как у неё в голове поселились двенадцать тысяч чужих голосов, — и Фрол Евсеич каждую ночь слышал, как она ворочается, как вздыхает, как берёт с тумбочки телефон, пишет кому-то одно короткое слово и кладёт телефон обратно. Потом засыпала. Сегодня — в половине двенадцатого. Рано. Повезло.

Он вылез из-за печки. Постоял на полу, привыкая. Пол был холодный, ночной, и ноги — босые, жёсткие, с мозолями, как у старого бурлака, — сразу озябли.

Валенки он не надел. Валенки остались за печкой, на ватнике. Пусть.

Сначала — кухня.

Он обошёл её по стенке, медленно, касаясь всего рукой. Лавку у окна, гладкую, сто раз скоблённую, с выжженным пятном, которое оставил в восемьсот сорок седьмом году утюг Евпраксии Тихоновны. Стол — дубовый, тяжёлый, с ящиком, который заедал с тысяча девятьсот шестьдесят второго, и Фрол Евсеич шестьдесят лет каждое утро подталкивал его снизу ладонью, чтобы Агафья, а потом Василиса думали, что ящик просто тугой. Табуретки — четыре, разные, одна Егорова, сколоченная из старой двери. Буфет. В буфете — Агафьины чашки с маками, Василисины кружки с надписями, Гашина пластиковая с единорогом. Блюдечко. Синее. Его.

Блюдечко он вымыл. Вытер. Поставил в буфет, на верхнюю полку, за чашки. Чтобы не нашли сразу.

Потом подумал — и переставил на полку пониже. Чтобы всё-таки нашли.

Потом — ходики.

Ходики висели над столом. Он подтянул гирю, как подтягивал каждую ночь с тех пор, как их повесили, — в восемьсот девяносто шестом, Агафьина бабка Пелагея Никоновна выменяла их на ярмарке на мешок сушёных яблок и очень этим гордилась, хотя часовщик её надул. Кукушка тогда ещё куковала. Голову ей отломал в девятьсот тридцатом году маленький Агафьин дядя Вася, который потом погиб под Ржевом. Фрол Евсеич голову сохранил. Она лежала у него за печкой, в коробке из-под монпансье, вместе с другими важными вещами, и Фрол Евсеич иногда доставал её и смотрел.

Подтянул гирю. Послушал, как тикают. Ровно. Уверенно. Как будто ничего не случилось.

— Ты их не держи, — сказал он ходикам негромко. — Слышишь? Пусть идут сами. Я больше не буду.

Ходики тикали.

Потом — сени.

В сенях стояли ботинки. Егоровы — форменные, чёрные, с дешёвым кремом, — Фрол Евсеич каждую ночь доводил их до ума, потому что участковый Шмелёв чистил ботинки так, как будто делал одолжение, — по носку и всё. Василисины кроссовки. Гашины сапожки, жёлтые, с лягушками. Алёшины — синие, на липучках, аккуратно составленные носок к носку: Алёша и обувь ставил так, как будто его потом спросят, почему не по линейке.

Фрол Евсеич вычистил Егоровы ботинки. В последний раз. Хорошо вычистил, до зеркала, так что в носке отразилась лампочка из кухни. Сапожки с лягушками поставил ровно. Под Василисины кроссовки подложил по стельке — она жаловалась, что натирает, а сама купить

всё никак не могла, вечно ей некогда. Стельки он вырезал днём из старой фетровой шляпы, которую нашёл на чердаке.

Грабли от крыльца убрал. Последний раз.

Потом — комната.

Дети спали на двухъярусной кровати, которую Егор собрал в прошлом году по инструкции и с первого раза, чем гордился до сих пор. Наверху — Гаша, разметавшаяся, с одеялом на полу, со злыднем в обнимку. Злыдень — серый, лохматый, похожий на клок пыли с глазами — при виде Фрола Евсеича открыл один глаз и тут же закрыл. Они друг друга не любили, но уважали.

Фрол Евсеич поднял одеяло. Накрыл. Подоткнул под пятки, как Гаша любила.

Внизу — Алёша. На спине. Руки поверх одеяла. Рядом, на тумбочке, в коробке с песком, — Аполлинарий, Евдокиин черепах, ста сорока двух лет от роду. И Кася, маленькая, молодая, с жёлтым пятном на панцире. Обе черепахи спали, втянув головы, — но Аполлинарий, когда Фрол Евсеич подошёл, медленно высунул голову обратно. Посмотрел. Старыми, мутными, всё понимающими глазами.

— Чего уставился, — сказал Фрол Евсеич шёпотом. — Сто сорок лет, а всё любопытный.

Черепах смотрел.

— Ну, ухожу, — сказал Фрол Евсеич. — И что? Ты, вон, тоже от Дуни ушёл. К мальчишке. Ничего, живёшь.

Аполлинарий моргнул. Медленно, как опускают шлагбаум.

— За парнем гляди, — сказал Фрол Евсеич. — Он тихий. Тихие — они, знаешь, всё внутрь. Мне потом некому будет… — Он не договорил. Махнул рукой.

Черепах втянул голову.

Над кроватью висели рисунки. Гашины. Приколотые кнопками к обоям в цветочек — Василиса ругалась, что обои портят, Гаша отвечала, что обои старые, а рисунки новые. Мама. Папа. Модест — фиолетовый. Луи — розовый. Варя — белая, с синими глазами. Баба Зина с папкой. Деда Михеич на велосипеде. И — во всех углах, на каждом рисунке, мелко, где-нибудь у печки или под столом — маленький человечек с огромной бородой.

Фрол Евсеич долго стоял и смотрел на рисунки.

Потом осторожно, чтобы не скрипнуть, отколол один. Самый маленький, с краю. Там не было ни мамы, ни папы, ни котов — только печка и он сам, бородатый, с блюдечком. И подпись, кривая, с перевёрнутой «Я»: «ДЕДУШКА ФРОЛ ПЬЁТ ЧАЙ».

Сложил вчетверо. Сунул за пазуху.

Взрослых он обошёл быстро. Не потому, что не любил — а потому что взрослых не так жалко. Взрослые справятся.

Постоял над Егором. Участковый спал на спине, раскинув руки, приоткрыв рот, и вид у него был такой мирный и беззащитный, какой бывает только у очень сильных людей во сне.

— Ты, Шмелёв, ботинки чисти, — сказал ему Фрол Евсеич. — По-человечески. С задником. И грабли. Слышишь? Грабли. — Подумал. — И девку не обижай. Она тебе не по чину. Ты это знаешь. Я это знаю. Держись, раз уж женился.

Егор всхрапнул.

Над Василисой Фрол Евсеич не стоял. Он только поправил на тумбочке телефон — тот лежал на самом краю, экраном вниз, — сдвинул его к середине. На экране, когда он сдвинул, на секунду засветилось последнее сообщение. Одно слово. «Тут».

Фрол Евсеич посмотрел на это слово. На её лицо в полутьме — худое, усталое, с тенями под глазами.

— Тут она, — сказал он. — Тут. А я — нет. — И отвернулся.

Самое трудное он оставил напоследок. Устю.

Кикимора спала в дальнем углу за печкой, свернувшись на клочке кудели, накрывшись своим серым платком. Маленькая — с кошку. Худая. Острые колени, острые локти, тонкие пальцы, на которых даже во сне шевелились мозоли от веретена. Когда-то, когда она жила ещё в бане и звалась никак, Фрол Евсеич гонял её веником. А когда Василиса дала ей имя и Устя впервые пришла в дом — бочком, по стенке, готовая в любую секунду удрать обратно, — Фрол Евсеич сказал: «Ещё чего, кикимора в избе». И подвинулся на ватнике.

Он сел рядом. Посмотрел.

Он не мог её разбудить. Если бы разбудил — она бы спросила куда. А он бы не смог соврать. А если бы сказал правду — она бы пошла с ним. Обязательно пошла бы, она такая, она молчит-молчит, а потом вцепится — не оторвёшь. А там, куда он шёл, кикиморам не место. Там вообще никому не место, кроме него.

Он протянул руку. Хотел поправить платок.

Не поправил.

Положил рядом с её головой, на кудель, маленькую вещь. Медную пуговицу. Старую, с орлом, солдатскую — от мундира рядового Нижегородского полка, который квартировал в этом доме в восемьсот двенадцатом году. Фрол Евсеич нашёл её тогда в щели между половицами и хранил двести двадцать два года, потому что она была красивая. Устя однажды увидела её в коробке из-под монпансье и смотрела так долго, что он коробку закрыл и убрал подальше. Жадина был.

Положил пуговицу. Встал. Ушёл не оглядываясь.

Оглянулся у самого шестка. Ничего не увидел — за печкой было темно.

Записку он написал на кухне. Гашиным фломастером — своего у него не было, а карандаши, которые он годами собирал по дому, писали бледно, и он боялся, что не разберут. Зелёным. Печатными буквами — писать прописью он так и не выучился, хотя смотрел через плечо, как учились все семь хозяек.

«СЪЕХАЛ. НЕ ИЩИ. Ф. Е.»

Он смотрел на записку долго. Формула была правильная. Старая. Отец научил. «Съехал» — значит, дом свободен. «Не ищи» — значит, не жди. И имя, чтобы дом знал, от кого ему вольная. Всё. Больше ничего писать нельзя. Если напишешь больше — дом зацепится за лишнее слово и будет ждать.

Он подумал. Взял фломастер. И мелко, внизу, приписал про самовар. И про фломастер.

Это было лишнее. Он знал. Но не мог по-другому. Самовар правда тёк.

Записку положил в подпечек. Слева. Под ухватом. Туда, где Гаша прятала фантики, — она найдёт, если мать не найдёт.

Потом достал лапоть.

Лапоть лежал в самой глубине за печкой, под ватником, под коробкой из-под монпансье, под мешочком с солью, под Агафьиным вышитым платком, в который был завёрнут. Фрол Евсеич не доставал его тридцать лет. С девятьсот девяносто девятого, когда Агафья решила, что умирает от воспаления лёгких, и он сидел с ней ночь у кровати, а под утро, когда ей полегчало, достал лапоть и долго держал в руках — так, просто. Чтобы вспомнить.

Развернул платок.

Лапоть был маленький. Детский. Плетённый из липового лыка в косую клетку — так плели в посаде, под Сызранью, при Екатерине. Лыко потемнело от времени до цвета крепкого чая. Подошва в двух местах была прорвана и заштопана — суровой ниткой, крупными стежками, неумело, явно не мастером. Задник смят. На носке — выжженное пятно, чёрное, рваное, с обугленными краями, похожее на чей-то след.

Фрол Евсеич провёл пальцем по пятну. По заштопанной подошве. По суровой нитке, которую тянула когда-то маленькая, неумелая, исколотая иглой рука.

Двести шестьдесят лет.

Он залез в лапоть. Сел, как садился когда-то. Подобрал ноги. Тогда он помещался в нём весь, с головой, и ещё оставалось место. Теперь колени торчали над краем, а борода свисала через задник наружу.

— Вырос, — сказал Фрол Евсеич. Сам себе. — Надо же.

На печке зашевелился Модест.

Фрол Евсеич не услышал, как кот проснулся, — Модест умел не просыпаться слышно. Просто вдруг понял, что сверху, с края печи, на него смотрят. Два жёлтых глаза в темноте. Неподвижные.

— Не спишь, — сказал Фрол Евсеич.

— Не сплю.

— Давно?

— С ходиков, — сказал Модест. — Когда ты им сказал, чтобы шли сами.

Фрол Евсеич вылез из лаптя. Встал. Отряхнул штаны.

— Подслушивал.

— Слушал, — поправил кот. — Сто семьдесят лет я на этой печке слушаю, как ты по ночам ходишь. Знаю, где скрипнешь, где кашлянешь, где сматеришься на Шмелёвы ботинки. — Сегодня ты ходил не так.

— А как?

— Как ходят на кладбище, — сказал Модест.

Фрол Евсеич ничего не ответил.

Модест спрыгнул вниз. Мягко. Беззвучно. Сел напротив — на расстоянии вытянутой лапы. Посмотрел на лапоть. На записку, которая торчала уголком из подпечка. На бороду Фрола Евсеича, которую тот, оказывается, расчесал сегодня вечером — первый раз лет за пятьдесят.

— Это от отца, — сказал кот. Не спрашивая. — Береста. На прошлой неделе.

Фрол Евсеич долго молчал.

Потом полез за пазуху. Мимо сложенного рисунка — глубже. Достал. Протянул коту.

Береста была тонкая, светлая, в мелких чёрных крапинках, свёрнутая в трубочку. Модест не стал её брать — у него не было рук, а брать зубами было унизительно. Фрол Евсеич развернул сам. Положил на пол. Придавил с краёв двумя угольками из печи.

Буквы на бересте были не буквы. Царапины. Резы. Старые, такие, какими писали, когда ещё не умели писать. И одна строчка — внизу — сажей, пальцем, неровно, уже словами.

Модест прочитал. Он читал всё, что угодно, — по-русски, по-французски, немного по-немецки, газеты, рецепты, инструкции к стиральной машине, этикетки на сметане. Резы он не читал. Но строчку внизу — прочитал.

«Сына Евсей Большак зовёт. Принимать. До Троицы. Насовсем».

Модест прочитал её два раза. Потом поднял глаза.

— Принимать, — повторил он. — Что принимать?

— Всё, — сказал Фрол Евсеич. — Всю Волгу. От Казани до Саратова. Все печи. Всех наших. — Он скатал бересту обратно. — Он кончается, Модест. Отец. Тает. Говорят — уже насквозь видно. Как дым. До Троицы не дотянет, а может, дотянет, если упрётся, — он упёртый. А кто-то должен уголь принять. Из рук в руки. Иначе — всё.

— Что — всё?

— Всё, — повторил Фрол Евсеич. — Разбредутся наши. Без Большака. Каждый сам по себе. А домовой сам по себе — недолго. Чуть хозяева съехали, чуть дом сгорел, чуть горе в доме — и пошёл он, бедный, по свету. Без старшего. Без закона. Без того, кто скажет: вон туда иди, там печь сиротская, там тебя ждут. — Через пятьдесят лет на всей Волге — ни одного не останется. Одна мелочь будет по пустым домам шастать.

Модест смотрел на него.

— А почему ты? — спросил кот.

— Потому что сын.

— У него других нет?

— Один я. — Фрол Евсеич криво усмехнулся. — Мать-то давно ушла. Ещё до… до всего. Других не нажили.

— Ты о нём один раз говорил, — сказал Модест медленно. — В сорок первом. И больше ни разу. Я думал — он давно сгинул. Я думал — у тебя никого нет. Как у меня.

— А у меня и нет, — сказал Фрол Евсеич. — Двести шестьдесят лет — нет. А теперь, вот, пишет. — Он похлопал по пазухе, где лежала береста. — Когда помирать собрался. Удобно.

Кот долго молчал.

— А если не пойдёшь? — спросил он.

Фрол Евсеич посмотрел на него.

Модест знал этот взгляд. Сто семьдесят лет — знал. Так Фрол Евсеич смотрел в сорок первом, когда Агафьина мать собирала сына на фронт и Фрол Евсеич всю ночь не спал, а под утро зашил ему в подкладку шинели щепку от печки. Так смотрел в девяносто девятом над Агафьиной кроватью. Так смотрел, когда Василиса впервые переступила порог и сказала «ну и рухлядь».

Это был взгляд домового, который знает, что надо. И что он сделает. И что спорить бесполезно.

— Пойду, — сказал Фрол Евсеич.

— Насовсем.

— Насовсем. Большак дома не держит. Закон.

— Чей закон?

— Отцовский.

Модест помолчал.

— Им скажешь? — Он кивнул наверх, в сторону комнаты.

— Нет.

— Почему?

— Потому что девка за мной попрётся, — сказал Фрол Евсеич. — Она такая. Ты её знаешь. Она за тобой в Москву ездила, за Касьяном на мороз полезла, Кощея за бороду таскала. Скажу — попрётся. А там ей нельзя. Там людей не пускают. Там она — никто, хоть трижды ведьма. — Он покачал головой. — И потом. Если скажу — она начнёт уговаривать. А я… — Он запнулся. — Я не устою, Модест. Я старый. Она скажет «Фрол Евсеич, ну как же мы без вас», а я — не устою. Останусь. А отец… — Он не договорил.

Кот смотрел на него.

— Так что слово дай, — сказал Фрол Евсеич. — Что не скажешь. Ни ей, ни детям, ни кикиморе. Никому.

— Не дам.

— Дашь.

— Почему это?

— Потому что я тебя прошу, — сказал Фрол Евсеич. — Первый раз за сто семьдесят лет прошу. Ни разу не просил. Ни сметаны, ни места на печке, ни чтоб ты Шмелёвы ботинки не метил. Ни разу. — Он смотрел на кота в упор. — А сейчас — прошу.

Модест молчал очень долго.

Ходики над столом тикали. За окном, далеко, на станции, прогудел товарный — длинно, тоскливо, как гудят товарные только в три часа ночи.

— Даю, — сказал Модест.

— Вот и ладно. — Фрол Евсеич наклонился, поднял лапоть. — Дом береги. Яйцо в валенке — береги особо. Кощей Кощеем, а игла его — тут. Мало ли.

— Знаю.

— Кикимору не обижай. Она хоть и болотная, а своя.

— Знаю.

— Шмелёву ботинки не порть.

Модест промолчал.

— И девку… — Фрол Евсеич запнулся. — Девку тоже. Того. Береги.

— Ты мне это зачем говоришь? — спросил Модест. Тихо. — Я сто семьдесят лет их тут всех берегу. Ведьму за ведьмой. Эта — восьмая, если с Евпраксией считать. И дети. Ты думаешь, без тебя не догадаюсь?

Фрол Евсеич посмотрел на него.

— Затем говорю, — сказал он, — что больше некому сказать.

Он ушёл в три часа двенадцать минут.

Модест проводил его до двери. Дальше не пошёл — Фрол Евсеич не велел. Остановился на пороге сеней и смотрел, как старый домовой, маленький, босой, сутулый, с лаптем под мышкой, спускается с крыльца. Как пересекает двор, по росистой траве, мимо бани, мимо яблони. Как останавливается у калитки.

Калитка дрогнула. Модест видел. Дрогнула и набрала воздуха — чтобы запеть. Четыре ноты, вверх-вниз, как пела каждому, кто выходил со двора.

— Не надо, — сказал Фрол Евсеич калитке. — Молчи.

Калитка помедлила. Потом тихо, беззвучно, как никогда в жизни, открылась.

Он вышел.

Не оглянулся.

На Верхне-Кирпичной было темно и пусто. Фонарь у колонки не горел — второй месяц, Егор писал заявку, заявку теряли. Фрол Евсеич шёл посередине улицы, по асфальту, потому что на обочинах ещё стояли лужи. Лапоть нёс под мышкой. Бороду — заправил за пояс, чтобы не мешалась.

Он не выходил со двора восемьдесят три года.

Последний раз — в пятьдесят первом, когда Агафья, молодая ещё, тридцатилетняя, отвела его ночью, в корзине с бельём, к соседке Прасковье — у той умер муж, а домовой с горя запил и не выходил из подпола, и надо было с ним поговорить по-мужски. Фрол Евсеич поговорил. Тот бросил пить. Прасковья потом всю жизнь думала, что это от молитвы.

Улица с тех пор изменилась. Асфальт. Столбы. Провода. Вместо Прасковьиного дома — кирпичный коттедж с железными воротами, за которыми бегала и рычала собака, большая, глупая, и рычала она на Фрола Евсеича до тех пор, пока он не остановился и не посмотрел на неё через щель в воротах. Тогда собака заскулила и ушла в будку.

На углу Верхне-Кирпичной и Ульяновской он остановился. Дальше начиналась большая дорога — к трассе, к мосту, к Волге. Дальше он не знал. Дальше было — всё.

Он сел на бордюр. Поставил рядом лапоть. Подумал.

Домовому одному ходить нельзя. Не то что запрещено — просто нельзя, как рыбе нельзя по земле. Домовой ходит с хозяином. В лапте, в валенке, в горшке с углями, в корзине, в кармане, за пазухой. Его несут — «дедушка-домовой, пойдём с нами в новый дом». Сам он может по дому, по двору, по соседским дворам, если недалеко. А дальше — кто-то должен нести.

Фрол Евсеич знал это всегда. Но почему-то, собираясь, не подумал. Думал про записку, про ходики, про стельки для девки, про пуговицу. А про то, как ему, домовому, добраться за сто с лишним вёрст до Жигулей — не подумал.

— Старый дурак, — сказал он вслух. — Пень.

С трассы, со стороны Ульяновской, донёсся рёв. Низкий, рокочущий, тяжёлый. По улице, медленно, переваливаясь на ямах, светя жёлтыми фарами, ехал грузовик. Огромный — КамАЗ

с длинным тентованным прицепом, на тенте — синие буквы, облупившиеся, наполовину нечитаемые: «…ГРОТРАНС. САМАРА — ТОЛЬЯТТИ — СЫЗРАНЬ».

Грузовик остановился на светофоре у перекрёстка. Мигающем, жёлтом — ночью светофор на Ульяновской не работал как надо, только мигал.

Фрол Евсеич посмотрел на грузовик. На номер. На буквы на тенте.

«Самара — Тольятти».

Тольятти — это напротив Жигулей. Через воду.

Он подхватил лапоть и побежал. Быстро, как не бегал лет сто, — босыми пятками по холодному асфальту, придерживая бороду. Добежал до кабины. Подпрыгнул. Не достал — ступенька была высоко. Подпрыгнул снова. Уцепился за что-то — за брызговик, за трубу какую-то, горячую, — подтянулся, перевалился, оказался на подножке.

Дверь кабины была закрыта. Стекло — поднято. Внутри горел тусклый зелёный свет приборов, играло радио, пахло табаком, кофе и солярой. За рулём сидел мужик — грузный, лысый, в тельняшке, с обвисшими усами — и жевал что-то, глядя на мигающий светофор.

Фрол Евсеич постучал в стекло.

Мужик не услышал. Люди почти никогда не слышат.

Зато услышал кто-то другой.

Из-под водительского сиденья — из щели между сиденьем и полом, где валялись пустые бутылки из-под воды, обёртки, старые квитанции, — высунулась голова. Небольшая, круглая, лохматая, в засаленной кепке козырьком назад. Нос — картошкой. Глаза — маленькие, хитрые, с прищуром. Голова посмотрела на стекло. На Фрола Евсеича за стеклом. Удивилась.

Потом что-то нажала изнутри — и стекло со стороны пассажира поползло вниз. Медленно, с жужжанием, на ладонь.

— Здорово, отец, — сказала голова. Хрипловато, весело, с волжским «о». — Ты чей будешь?

— Ничей, — сказал Фрол Евсеич. — Уже ничей.

Голова присвистнула.

— Это как же ничей? Домовой — и ничей?

— Съехал.

— А-а-а. — Голова понимающе кивнула. — На сход, что ли?

Фрол Евсеич вздрогнул.

— А ты откуда знаешь?

— Так все ж едут, — сказала голова. — Вторую неделю. Я сам троих возил. Из Пензы одного, из Кузнецка двоих. Бабка одна была — домовиха, из Октябрьска, — так та всю дорогу пела. — Она сощурилась на него. — Только ты, отец, какой-то не такой. Все едут проститься. А ты едешь — как на похороны. Свои.

Светофор мигнул. Мужик в тельняшке зевнул, переключил передачу.

— Залезай, — сказала голова. — Быстро. Он сейчас тронется, Палыч мой, а у него, как тронется, — всё, до Самары без остановок, у него мочевой пузырь железный.

Фрол Евсеич перевалился через стекло. Внутрь. В тепло, в запах кофе и соляры, в зелёный свет приборов. Упал на сиденье, прижимая к себе лапоть. Стекло за ним поползло вверх.

КамАЗ тронулся.

— Жорик, — сказала голова, вылезая из-под сиденья целиком. Оказалось — маленький, коренастый, в замасленном комбинезоне, сшитом явно из старой спецовки, в кепке, с отвёрткой за ухом вместо карандаша. — Кабинный я. Тридцать два года на колёсах. С Палычем — девятнадцать. До него — с Михалычем, тот на пенсию ушёл, а меня — с кабиной — Палычу передал. Как положено.

— Фрол, — сказал Фрол Евсеич. — Евсеич.

Жорик открыл рот.

Медленно закрыл.

Посмотрел на лапоть у Фрола Евсеича на коленях. Детский, липовый, с выжженным пятном на носке. Потом — на самого Фрола Евсеича. На бороду. На руки.

— Евсеич, — повторил он. Совсем другим голосом. — Это ты, что ли? Тот самый? Лапотный?

Фрол Евсеич отвернулся к окну.

За окном проплывала Сызрань. Тёмная, спящая, майская. Железнодорожный мост. Огни станции. Нефтезавод — далеко, на краю, огромный, светящийся, как город на другой планете. Волга — чёрная, широкая, с белой лунной дорожкой.

Где-то там, позади, на Верхне-Кирпичной, тринадцать, остывала печь.

— Тот самый, — сказал он.

Жорик долго молчал. Потом стянул кепку. Пригладил вихры. Надел обратно — козырьком вперёд.

— Ну, отец, — сказал он. — Довезу. До самой воды довезу. Палыча уговорю, он у меня понятливый, хоть и не слышит ни черта. — Он покосился на Фрола Евсеича. — Только ты это… Не молчи всю дорогу, а? А то у меня от молчаливых пассажиров колесо спускает. Примета такая.

Фрол Евсеич посмотрел на него.

Радио в кабине пело что-то старое. Про то, что «издалека долго течёт река Волга». Палыч подпевал. Фальшиво. С чувством.

— Ладно, — сказал Фрол Евсеич. — Не буду молчать.

И молчал до самой Самары.

Глава 3. Беспятые

Никита Тарасов пришёл во вторник, второго мая, в восемь утра, с тетрадью в клетку, термосом и выражением лица человека, который не спал ночь.

Семнадцать лет. Метр восемьдесят шесть — вытянулся за зиму так, что Ирина Тарасова перестала покупать ему брюки и начала покупать сразу на вырост, через размер. Отцовская куртка, которая три года назад висела на нём мешком, теперь была мала в плечах. Очки — новые, в тонкой металлической оправе, «как у Еремея Касьяныча», сказал он, когда выбирал, и покраснел. Тетрадь — та же. Ну, то есть не та же: та, первая, в клетку, с надписью «Ученик ведьмы» на обложке, кончилась ещё в позапрошлом году, потом кончилась вторая, потом третья, и сейчас он носил пятую, в синей обложке, исписанную до середины мелким, аккуратным, почти чертёжным почерком.

Он вошёл, не постучав, — давно уже не стучал, — и сразу остановился в сенях. Как вчера останавливались все.

— Ого, — сказал Никита. — Василиса Андреевна. А почему у вас пахнет, как в подъезде?

— Потому что Фрол Евсеич ушёл.

Никита посмотрел на неё. Снял очки. Протёр. Надел.

— Совсем?

— Он так написал.

Никита сел на табуретку в сенях, прямо на Гашины сапожки с лягушками. Не заметил. Открыл тетрадь. Достал ручку.

— Рассказывайте, — сказал он. — С самого начала. С какого времени. Я записываю.

Василиса рассказала.

Никита записывал. Быстро, не поднимая головы, иногда переспрашивая: «В шесть ноль четыре — точно? Не ноль пять?», «Следы — сколько пальцев?», «А дым — какого цвета, серый или сизый?». Когда она дошла до записки, протянул руку. Василиса дала. Никита сфотографировал записку с обеих сторон, потом перерисовал в тетрадь — буква в букву, с перевёрнутой «И» и кривой «Ё» в «съехал». Потом долго сидел над ней, шевеля губами.

— «Не ищи», — сказал он наконец. — Это повелительное наклонение. Обращение на «ты». — Поднял голову. — Это не вам.

— Мне Еремей Касьянович сказал. Это дому.

— Дому, — согласился Никита. Подчеркнул что-то в тетради. — Тогда вопрос: если дом «отпущен», то почему он не пустой? Почему всё ломается? Пустой дом — он же просто стоит. Как сарай. А у вас — наоборот: печь не топится, молоко киснет, часы встали. Это не пустота, Василиса Андреевна. Это — сопротивление. Дом не хочет быть отпущенным. — Никита постучал ручкой по тетради. — Он обиделся.

Василиса смотрела на него.

Восемь лет назад этот мальчик стоял у неё на пороге с рисунком дракона вместо оплаты и не мог спать без ночника. Потом — пятнадцатилетний — уговорил Лихо уснуть. Потом — шестнадцатилетний — записал в тетради «должно хватить» про снежную девочку, и хватило. Теперь ему было семнадцать, он сидел на Гашиных сапожках и объяснял ей, ведьме, что её дом обиделся.

И был, судя по всему, прав.

— Дальше, — сказала она.

— Дальше — следы. — Никита полистал тетрадь назад, к началу. — Я ночью читал. Афанасьева, Максимова, Даля, «Нечистую силу», Померанцеву. По следам без пяток — однозначно. — Он нашёл страницу. Прочитал: — «Анчутка — мелкий бес, беспятый, бесхвостый, шустрый, по-иному — шишок, шиш, лизун. Пяток не имеет, ибо в древности волк отгрыз».

— Поднял голову. — Это, конечно, легенда. Про волка. Но пяток у них действительно нет. Бегают на пальцах. Очень быстро.

— Опасные?

— По отдельности — нет. Мелкие пакостники. Соль путают с сахаром, узлы вяжут, носки воруют. Один левый. Всегда левый. — Никита перевернул страницу. — Но. Их никогда не бывает по одному. Где один — там двадцать. Где двадцать — там гнездо. И если гнездо в доме, то… — Он прочитал, медленно, водя пальцем по строчке: — «…то в доме том начинается свара, разлад, и тянет из людей тепло, как из худой печи. Супруги грызутся, дети плачут, старики хворают, и никто не знает, отчего». — Он закрыл тетрадь. — Это из «Сказаний русского народа» Сахарова. Тысяча восемьсот тридцать седьмой год. Сахаров, конечно, многое присочинял. Но не это.

Василиса долго молчала.

— Чем выводят?

— Хозяином, — сказал Никита. — Везде одно. Домовой анчуток не пускает. Он их — гоняет. Метлой, кулаком, свистом, как получится. Где домовой — там анчуток нет. Где нет — там они. — Он пожал плечами. — Есть ещё соль, чертополох, ладан, зеркало, кукиш…

— Кукиш?

— Кукиш. Показывать. В угол. Они кукиша боятся — говорят, он на волчью пасть похож. Которая пятки отгрызла. — Никита покраснел. — Я понимаю, звучит глупо.

— Ничего не звучит глупо, — сказала Василиса. — Я восемь лет назад думала, что домовых не бывает.

Никита кивнул. Открыл термос. Налил себе чаю в крышку. Отхлебнул — и поперхнулся.

— Солёный, — сказал он, глядя в крышку с ужасом. — Василиса Андреевна. Он солёный. Я сахар клал. Дома. Сам. Две ложки.

Они посмотрели друг на друга.

Из-за печки, из темноты, донеслось тонкое, мелкое, частое хихиканье. Как будто там рассыпали горох.

К среде стало ясно, что Фрол Евсеич ушёл не один.

Первой позвонила Люда из «Продуктов 24». В семь утра, задыхаясь, так, будто бежала.

— Вась, — сказала она. — Вась, у меня тут… Я не знаю, как сказать. Ценники.

— Что — ценники?

— Переставлены. Все. За ночь. Я вчера в одиннадцать закрывалась — всё было по местам, я ж пересчитываю каждый вечер, ты знаешь, после этого… после ломбарда. А сегодня прихожу — хлеб по тысяча двести, коньяк по тридцать восемь, кефир за двести сорок, а «Доширак» — даром. Ноль рублей ноль копеек. Это же не я печатала! У меня принтер с паролем! — Люда всхлипнула. — И сахар. Вась, у меня в мешках с сахаром — соль. Пятьдесят кило. И в солонках на прилавке — сахар. А дверь закрыта была. На два замка. И сигнализация не сработала.

Василиса закрыла глаза.

— Люда. У вас в магазине кто-нибудь… жил? Ну… За прилавком. Под полом. Кто-нибудь, кого вы не видели, но знали?

Люда помолчала.

— Был, — сказала она тихо. — Наверное. Я никому не говорила. Там, в подсобке, у старой печки — это ж раньше дом был, до магазина, купеческий, печку при ремонте оставили, она замурована, — я туда каждый вечер ставила стакан кефира. Ещё мама ставила, когда тут работала. И он… Ну, кефир выпивали. И порядок был. Ни одной недостачи. Двадцать шесть лет — ни одной. — Она шмыгнула носом. — А позавчера утром — стакан полный. И вчера. А сегодня — вот.

Вторым — в среду же — позвонил Пыжиков.

Пыжиков звонил редко, всегда по делу и всегда начинал разговор с правды, которую никто не хотел слышать. Это было его проклятие — говорить только правду, — и с этим проклятием он прожил жизнь, вырастил дочь и нянчил внучку, и год назад заложил его Кащееву в ломбард, и выкупил обратно, и сказал, что лучше уж с ним.

— Василиса Андреевна, — сказал он. — Вы плохо выглядите. Я вас не вижу, но по голосу. Простите.

— Ничего.

— У меня ночью внучка плакала, — сказал Пыжиков. — Три раза просыпалась. Говорит — кто-то за ногу дёргает. Из-под кровати. Я посмотрел — никого. А у неё на щиколотке — синяк. Маленький. Как от пальцев. — Я ей сказал, что это ей приснилось. И это была неправда. Первый раз за много лет. — Голос у него дрогнул. — Я сказал неправду, и мне не было плохо. Понимаете? Проклятие — не сработало. Как будто его кто-то… отвлёк.

Третьей — Зинаида Павловна. Не позвонила: пришла через забор.

Дом Уткиной-Бобровой стоял по соседству — через низкий штакетник, через грядки с первой редиской, через теплицу, в которой Геннадий Петрович с марта выращивал рассаду помидоров «Бычье сердце» и разговаривал с ней по утрам, как с личным составом. Зинаида Павловна перелезла через штакетник — в домашнем халате, с папкой под мышкой, — в восемь вечера, в среду. Без звонка, без «можно», без «извини, что поздно».

Села на крыльцо. Положила папку на колени. Посмотрела на Василису поверх очков.

— Мы с Геной поругались, — сказала она.

Василиса села рядом.

За семь лет брака Зинаида Павловна и Геннадий Петрович не ругались ни разу. Это было известно всей Верхне-Кирпичной, всей Нижне-Кирпичной и, по слухам, половине Совета ветеранов. Они расписались в марте двадцать седьмого, когда обоим было за шестьдесят, оба во второй раз, оба после долгого одиночества, — и с тех пор жили так, что соседки ставили их в пример мужьям, а мужья старались не попадаться Геннадию Петровичу на глаза. Он носил ей чай в теплицу. Она гладила ему лётный свитер, который гладить было не нужно. Они спорили — о политике, о рассаде, о том, как правильно солить огурцы, — но спорили так, как спорят люди, которым нравится спорить друг с другом.

— Из-за чего? — спросила Василиса.

— Из-за ничего. — Зинаида Павловна сняла очки. Протёрла полой халата. — Из-за чайника. Он его на плиту поставил без воды. Я сказала — Гена, ты что, ослеп. Он сказал — Зина, не командуй. Я сказала — я не командую, я констатирую. Он сказал — ты сорок лет в школе констатировала, отдохни. — Она надела очки. — И я… Я ему такое сказала, Васёна. Я тебе не повторю. Я в жизни никому такого не говорила. Ни мужу первому, ни завгороно, ни Ельцину по телевизору. — Помолчала. — А он хлопнул дверью и ушёл в гараж. И сидит там. Третий час. С «Волгой».

«Волгу» — двадцать первую, отцовскую, — Геннадий Петрович сорок лет берёг в гараже и, когда ему бывало плохо, садился в неё и сидел, положив руки на руль, никуда не едучи.

— Зинаида Павловна, — осторожно сказала Василиса. — А у вас в доме… Ну. Есть кто-нибудь? Кроме вас с Геннадием Петровичем?

Зинаида Павловна посмотрела на неё. Строго. По-завучевски. Как смотрела сорок лет на старшеклассников, которые задавали вопросы с подвохом.

— Есть, — сказала она. — Тихон. Он ещё при маме был. Я его сама не видела ни разу, но мама говорила — Тихон. И он есть. Я ему по субботам ставлю кашу. Гречневую. С маслом. Мама ставила, и я ставлю. — Гена смеётся. Говорит — Зина, ты завуч, ты в научный атеизм верила. А я говорю — в научный атеизм я верила по работе. А в Тихона — по-домашнему.

— Каша в субботу была съедена?

Зинаида Павловна долго молчала.

— Нет, — сказала она. — Первый раз за шестьдесят лет. Я думала — мыши испугались кота. Вашего. — Она посмотрела на Модеста, который лежал в сенях на сундуке и делал вид, что спит. — А потом — чайник. И я — Гене. Такое.

Она вдруг закрыла лицо руками. Халат, папка, очки — и под ними маленькая, седая, растерянная женщина, которая шестьдесят лет ставила кашу кому-то, кого не видела, и вдруг осталась одна.

— Васёна, — сказала она сквозь пальцы. — Что происходит?

К пятнице Никита составил карту.

Он разложил её на кухонном столе — большой лист ватмана, склеенный из четырёх, с планом старой Сызрани, перерисованным с краеведческой карты девятьсот десятого года, — и начал отмечать красными кнопками дома, где ушли домовые. Василиса диктовала. Звонили люди — старухи, в основном, и немного стариков, и одна молодая женщина с ребёнком, которая сказала, что у неё в квартире на Советской с понедельника «кто-то воет в вентиляции», а раньше «кто-то чинил краны». Звонила Анжела из вязального кружка: у трёх её вязальщиц спутались все клубки — за одну ночь, в комках, в узлах, «как будто их кошки трепали, а кошек у них нет». Звонил Кузьмичёв — он теперь был председателем уличного комитета на Ульяновской и звонил по любому поводу, — сказал, что на его улице за неделю пропало сорок два левых ботинка. «Только левые, Василиса. Сорок два. Я считал. У меня самого — два. И у жены. И у собаки, у собаки ботинки, мы ей купили на зиму, — левые передние тоже». Звонила Людмила Ивановна со скорой: за неделю четыре вызова от стариков, которые «упали на ровном месте, будто кто под ногу кинулся».

Кнопки ложились на карту. Красные. Одна за другой.

Никита смотрел на них, сдвинув брови, и вдруг сказал:

— Это не случайно.

— Что?

— Распределение. — Он взял карандаш. — Смотрите. Все кнопки — в старом городе. Посад, Кирпичные, Ульяновская, Советская, Кремлёвская, у Спасской башни. Ни одной — в новых районах. Ни на Монгоре, ни в Засызранье, ни в Образцовом. Значит — ушли старые. Те, что в старых домах. В деревянных. Где печи. — Он обвёл кнопки карандашом. — В новостройках, наверное, тоже кто-то живёт. Но — другие. Или — не ушли.

— Почему старые?

— Не знаю. — Никита помолчал. — Может, их позвали. Только их.

Василиса смотрела на карту.

Двадцать девять кнопок. Двадцать девять домов, где кто-то шестьдесят, сто, двести лет молча чинил краны, пил кефир, ел гречневую кашу, подтягивал гири, убирал грабли, — и вдруг, за одну неделю, перестал. Без записок. Без прощаний. Просто — ушёл.

Почти все ушли без записок. Она уже знала: спрашивала у каждого. Только Фрол Евсеич написал «съехал».

Значит, остальные собирались вернуться.

А он — нет.

Анчутку поймала Варя.

В субботу, шестого, в половине седьмого утра, когда Василиса стояла у остывшей плиты и пыталась сварить детям овсянку на электрической конфорке — каша пригорала в третий раз, хотя огонь был минимальный, а она мешала не переставая, — в дверь постучали. Не в дверь — в окно. Тихо, костяшками. Так стучал только один человек на Верхне-Кирпичной.

Михеич стоял под окном в телогрейке, в голубой Клавиной шапке, с палкой. Рядом — Варя.

Варя за полгода выросла на четыре сантиметра. Михеич отмечал карандашом на косяке сарая каждое воскресенье, и каждое воскресенье звонил Василисе и докладывал, сколько мил-

лиметров. Восемьдесят сантиметров. Маленькая, как трёхлетка, хотя по документам — «Варвара Владимировна Кирпичникова, дата рождения 22 декабря 2033 года, место рождения — г. Сызрань» — и по виду ей можно было дать лет пять: такое серьёзное, совсем не детское было у неё лицо. Белые ресницы. Синие глаза. Розовые щёки — розовые, живые, с весны уже, слава богу, совсем розовые. Голубой Клавин шарф с белой кисточкой, которая так и не растаяла.

В руках у Вари была банка. Стеклянная, литровая, из-под огурцов. С крышкой.

Василиса открыла окно.

— Тётя Вася, — сказала Варя. — Смотри. Я поймала.

И подняла банку повыше.

В банке был лёд. Кусок льда — голубоватый, прозрачный, с пузырьками внутри, размером с кулак. А во льду — вмёрзшее, неподвижное, растопыренное, как муха в янтаре, — сидело что-то маленькое.

Василиса наклонилась.

Оно было ростом с ладонь. Серое, щуплое, голое, с острыми локтями и коленками, с большой головой, на которой торчали уши — круглые, оттопыренные, как ручки у сахарницы. Лицо — сморщенное, как у старичка, с маленькими злыми глазками и широким, до ушей, ртом. Ни хвоста. Ни шерсти. И ноги — тонкие, длинные, с растопыренными пальцами. Четыре пальца. И без пяток. Ступни обрывались сразу за пальцами, как будто их и правда кто-то отгрыз.

Анчутка во льду скалился. Застывший — в прыжке, с вытянутой рукой, — как будто его заморозило на бегу, в ту самую секунду, когда он что-то хватал.

— Он у меня шарф хотел, — сказала Варя спокойно. — Ночью. Под кровать тянул. Я проснулась и его взяла. — Она посмотрела на банку. — Он колючий. Я его подержала, он перестал. Деда банку принёс.

— Я принёс, — подтвердил Михеич. — Она мне в четыре утра: деда, банку. Я думал — мышь. — Он помолчал. Покосился на банку. — Это не мышь.

— Это не мышь, — согласилась Василиса.

— А кто?

Модест вышел на крыльцо. Медленно, не торопясь. Сел на верхней ступеньке. Посмотрел на банку.

Шерсть у него поднялась снова — как в понедельник у шестка.

— Анчутка, — сказал он. Василиса перевела. — Молодой. Глупый. Совсем ещё мелкий. — Он помолчал. — Девочка, ты его голыми руками?

Варя кивнула.

— Он кусался?

— Хотел, — сказала Варя. — Не успел.

Модест смотрел на неё долго. Без презрения, без насмешки. С чем-то, что у другого кота Василиса назвала бы уважением.

— Мороз бы гордился, — сказал он.

Михеич, разумеется, услышал «мяу». Но, видно, понял — потому что приосанился и сказал:

— А то. Она у нас такая.

Василиса взяла банку. Лёд внутри был холодный — по-настоящему, по-зимнему холодный, хотя за окном было плюс девять и светило майское солнце. Анчутка смотрел на неё сквозь стекло и лёд маленькими, злыми, неподвижными глазами.

— Варя, — сказала она. — А у вас дома — кто-нибудь живёт? За печкой?

Варя посмотрела на Михеича. Михеич посмотрел на Варю.

— Никого, — сказал Михеич. — С Клавы — никого. Клава говорила, был кто-то. Она ему вареники на Пасху оставляла. А как она ушла… — Ну, я не оставлял. Я ж не верил. Я и сейчас не очень. — Он посмотрел на банку. — То есть до сегодняшнего.

— У нас дом скрипит, — сказала Варя. Тихо, глядя в землю. — По ночам. Везде. На потолке, в стенах, в полу. Как будто ходит кто-то. А никого нет. — Она подняла глаза на Василису. — Я раньше не боялась. Я раньше ничего не боялась. Я ж из снега. — А теперь — боюсь. Когда скрипит.

Михеич положил ей руку на плечо. Большую, корявую, рабочую.

— Это дом старый, — сказал он. — Старые все скрипят. Я тоже скриплю. Ты ж меня не боишься.

— Тебя — нет, — согласилась Варя. — Ты — деда.

Банку Василиса поставила в морозилку. Анчутка внутри не шевелился, лёд не таял, а Модест сказал, что так даже лучше: «Пусть посидит. Подумает. Им полезно».

Но вечером, когда она открыла морозилку, чтобы проверить, банка была на месте, лёд был на месте, — а на крышке, на жестяной крышке, кто-то нацарапал снаружи, гвоздём или когтем, неровно, кривыми детскими буквами:

«ОТДАЙ».

Модест посмотрел на надпись. Ничего не сказал.

Ночью в морозилке что-то царапалось до трёх утра. Не изнутри банки. Снаружи. Много. Мелко. Упорно.

Утром на кухонном полу — в муке, которую кто-то рассыпал из пакета, оставленного на столе, — Василиса насчитала сто с лишним следов. Без пяток. Они кружили вокруг холодильника, взбирались по дверце — на белой эмали остались серые мучные отпечатки, — топтались у резинового уплотнителя и уходили — все, разом, ровной цепочкой — за печку.

За печку, где сидела Устя.

Василиса бросилась туда.

Устя сидела на своём месте. В дальнем углу. На кудели. С веретеном в руках.

Вокруг неё, на полу, кругом — тесным, плотным, ровным, как будто циркулем начертили, — лежала нитка. Чёрная. Блестящая. Модестова шерсть. И у самой нитки, с внешней стороны, вплотную, но ни одного — внутри, — толпились следы. Сотня. Две. Они подходили к нитке — и останавливались. Подходили — и поворачивали.

Устя подняла голову. Зелёные болотные глаза. Тёмные круги под ними — как будто она не спала неделю.

— Не пущу, — сказала Устя. Тонко. Хрипло. Василиса не сразу поняла, что это не ей. — Пусть только сунутся. Не пущу.

Она смотрела не на Василису. Мимо. В угол. В тёмную щель между печью и стеной.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.